

Александр Левитов

Насупротив!..



Александр Иванович Левитов

Насупротив!..

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=657405

Сочинения: Худож. лит.; М.: 1977

Аннотация

«...Хотелось поскорее добраться до ночлега, потому что совсем свечерело и в воздухе ощутительно распространились прохлада и тишина ночи.

Впереди меня, в влажном от вечернего тумана воздухе, неясно рисовались крыши деревенских изб...»

Содержание

I	4
II	18

Александр Иванович Левитов Насупротив!..¹

I

...Хотелось поскорее добраться до ночлега, потому что совсем свечерело и в воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина ночи.

Впереди меня, в влажном от вечернего тумана воздухе, неясно рисовались крыши деревенских изб. Может быть, впрочем, то были деревья леса, стоящего в стороне от дороги, а может быть, что облака туманные, закрывши собою верхушки придорожных вешек, обманывали меня.

Нет! Вероятно, это крыши домов, думаю я, и действительно вдали послышался лай собак и тот неопределенный гул, который обыкновенно несетя из большого села, когда подойдешь к нему не так близко, чтобы можно было видеть его.

Потом я окончательно уверился, что близко село, что только или густые ветлы его огородов, или пригорок какой-нибудь мешают мне ясно видеть его. Навстречу мне попала какая-то унылая баба. За плечами она несла связку хвороста и при встрече со мной низко мне поклонилась.

– Бог в помочь, тетушка! – сказал я ей.

– Спасибо, кормилец, – ответила она мне самым плачевным голосом.

– Далеко тут деревня-то?

– А вот за горкой-то. Подымешься как на горку-то, там тебе и деревня будет.

– Што ж это ты, в лес, што ль, ходила по дрова? Ай лошаденки-то нет, што сама несешь?

– Какие там лошаденки, голубчик ты мой! Шестнадцатый год вот так-то маячусь без мужа. От одних дров всю спинушку разломило. Летом-то еще ничего: выйдешь на большую дорогу, обломает ветром ветки, – ну и собирай, не ленись только; а зимой, как в лес-то за ними придется идти, и-их страсть какая под снегом-то их откапывать!..

– А ты бы к мужу шла, все бы, глядишь, полегче было, – посоветовал я.

– Где его найти, мужа-то? Он мне ни одной весточки об себе ни разу не дал. Ох! Далече, надо быть, загнали его.

Сильно задумался я, так что и не слышал, как подошел к самому селу.

– Будьте вкладчики на каменное строение Николаю-чудотворцу, – растягивал древнейший старец, сидевший у часовни, выстроенной перед самым селом.

Его дребезжащий голос и звон колокольчика, которым старец сопровождал свое пение, вывели меня из моего раздумья. Я осмотрелся. Предо мной была одна из тех быстро

разросшихся деревень, которые, вследствие местных обстоятельств, в какие-нибудь пять или десять лет из поселка в три-четыре избы вдруг превращаются в длинные села с постоянными дворами, харчевнями и проч.

Около часовни болталась толпа ребятишек. «Будьте вкладчики на мягкие калачики!...» – голосили они целым хором, очевидно поддразнивая сборщика-старца.

– Вот я вас, мошенники! – грозил им дед своею толстою палкой, не вставая с места.

Мещанин какой-то подъехал к часовне. «Будьте вкладчики...» – заголосил было дед, но мещанин предупредил его. Сняв картуз, он начал молиться, расправляя свои длинные волосы. Мальчишки между тем голосили громче прежнего: «Будьте вкладчики на мягкие калачики...»

Мещанин, по-видимому, не обращал на них ни малейшего внимания. Наклонившись к старику, чтобы сотворить ему милостыню на построение храма, он потихоньку сказал ему: «Поймать, што ли, дедушка?»

– Пымай, пымай, голубчик ты мой! Пымай какого-нибудь. Изняли они меня, разбойники! Страсть как изняли!

Вдруг мещанин бросился на стаю ребятишек, схватил какого-то мальчугана за включенный хохол и подтащил к деду.

– А, падлюка, попался! – шамшит дед и дерет мальчишку за вихры. Мальчишка орет во все горло. Мещанин стоит поодаль и приговаривает: «Вот это прекрасно! Вот это чудесно! Ай да дедушка! Половчей ему голову-то расчеши, – ему

скоро жениться понадобится...»

От часовни к селу тянулся огромный сад, молодой еще. За садом начинался длинный деревянный забор с соломенными сараями, которые особенно помогают отличать в деревнях и селах помещичьи дома от купеческих. Дома первых обыкновенно строятся, как говорится, на юру. Одиноко торчат около них беспорядочно разбросанные разные барские пристройки и службы, разрушенные и гниющие, тогда как дома купцов непременно обнесены новым забором с воротами наподобие крепостных ворот, и видишь, что все это строение принадлежит одному хозяину, что так же крепко оно, как крепок хозяин сам, и что оно ново так же, как нов сад, который обыкновенно разводится за домом на таком страшном количестве десятин, какого достаточно было бы для того, чтобы поселить на нем целый город.

По всей длине садовой огорожи и деревянного домового забора быстро преследовали меня мальчишки, дразнившие старого сборщика.

– Цыцарцы, цыцарцы идут! – восклицали они, видя во мне передового тех несчастнейших шарманщиков, которые шатаются по уездным ярмаркам.

– Мотри, малый, заиграет сичас.

– Где заиграет? Вишь, у него коробка-то нет на спине.

– А может, он глаза нам отвел, вот мы коробка-то и не видим.

На крыльце купеческого дома, сад и забор которого только

что прошел я, сидели две девицы, полноты и румянца изумительного. При моем приближении они пугливо вскочили и убежали в комнаты. Между тем я поравнялся с домом.

– Вендерец какой-то идет, маменька! – очевидно, про меня рассказывали румяные девицы.

– Пусть идет! Бог с ним! – слышалось мне из растворенного окна.

– У вас все бог с ним! Выдь-ка, Матрена, за ворота поскорей, посмотри, не сдул бы чего; а я с крыльца посмотрю, – говорил мужской голос.

– Эй, цыцарец, сыграй на музыке-то, – с хохотом кричали мальчишки, бежавшие за мной.

На крыльцо купеческого дома вышел толстый мужчина с бородой, в ситцевой рубашке и подозрительно смотрел на меня. Из-за его плеча пугливо выглядывали румяные девицы, в ворота выбежала маленькая сухощавая бабенка и тоже устремилась на меня с самым наблюдательным вниманием. Вместе с бабой выбежала огромная собака и азартно залаяла и заметалась около меня. Ни сам купец, ни сухощавая бабенка не удерживали собаки, и только толстая палка моя держала ее в почтительном отдалении...

– Не можете ли вы пустить меня ночевать? – сказал я, обращаясь к купцу.

С какую-то особенную ненавистью посмотрел на меня купец, отвернулся и ушел с крыльца. За ним убежали полные девицы.

– Ах вы, братцы мои! Ночевать просится, – говорила стоявшая у ворот бабенка, помирая со смеха. – Милые мои! – орала она кому-то на дворе в растворенную калитку, – глянь-те-ка, милые мои, цыцарец ночевать просится... Ох, черт ты проклятый! Уморил совсем...

А собака между тем неистово храбро подкатывалась мне под ноги, заливаясь валдайским колокольчиком. Я не вытерпел и дал ей палкой туза. Завизжала собака, как обваренная кипятком, и бросилась в подворотню.

– Ах черт ты проклятый! – заорала с невыразимым азартом бабенка. – Ах ты, нехристь поганая! Собаку убил, вот я ребят вышлю – они те бока-то намнут...

Я скорыми шагами удалялся от сего прекрасного сельского убежища.

– А, идол ты эдакой, – собак бить стал. Моли бога, что ушел далеко, я бы тебе... – кричал за мной сам домохозяин.

Я очень хорошо знаю толк в степных идиллиях, чтобы нисколько не возмутиться незаслуженною бранью, которою осыпала меня красная рубаха, – и шел искать себе более гостеприимного крова.

Мальчишки, встретившие меня в начале села, между тем уже предупредили меня. Я очень явственно слышал, как они, разбегаясь по сельским улицам и переулкам, орала во все свои звонкие горла:

– Собирайтесь, братцы, цыцарцы в село идут!

– Пусти, хозяин, ночевать, – спрашиваюсь я у мужика, си-

девшего на завальне первой избы.

Не ответив мне ни одного слова, мужик торопливо вскакивает с места и скрывается в сени. Я иду за ним, но дверь затворяется – и я имею наслаждение слышать, как щелкнула перед самым моим носом ее железная запорка.

Вслед за мной раздается хлопанье избыного окошка. Из него любопытно высовываются несколько женщин.

– Этот? – спрашивают они у кого-то внутри избы, покаявая на меня пальцами.

– Он и есть! – отзывается им мужской голос. – Откуда только наносит их к нам – короткохвостых?.. Пойти лошадей посмотреть, целы ли! Не сцарапал бы их цыцарец-то!..

– Пойдемте-ка и мы, бабы, взглянем, не намазал ли он стены либо плетня чем-нибудь. У них составы таки есть: намажет стену с вечера, а утром, только что солнце пригреет, стена-то и загорится.

На другой завальне сидят два мужика и женщина. Они бойко толкуют о чем-то. Женщина громко хохочет, слушая их.

– Пустите ночевать, братцы! – обращаюсь я к ним.

– Што?

– Ночевать пустите.

Мужики смотрят на меня, как на такого человека, который вдруг ни с того ни с сего дал им по самой ошеломляющей оплеухе. Бабенка, сидевшая с ними, видимо лопается, стараясь удержаться от смеха.

– Чужаки мы сами здесь, милый человек! У приятеля сидим. А ты вон на постоялом дворе поди попросись. Может, и пустят.

– А где же тут постоялый двор?

– А вон насупротив-то!

Я иду насупротив, а благоухающая вечерним запахом трав и дерев сельская улица оглашается басистым хохотом мужиков, пославших меня насупротив, которому дружно вторит тонкий и неистово радостный хохот бабы. На крыльце *насупротив* сидит пожилая женщина и кормит довольно взрослого ребенка.

– Бог в помощь, милая! – желаю я ей.

– Спасибо, касатик! Што тебе надоть? У меня ничем-ничего нет. Водицы испить дам, коли хочешь.

– Ночевать пусти, тетка, у тебя постоялый двор. Мне вон те мужики сказывали.

– Что ты им веришь-то, зубоскалам! Они тебя на смех поднимают – рази не видишь? Вот постоялый двор-то где, *насупротив*. А я, кормилец, одна с малыми детьми ночую. Мужики в поле, рабочей порою, живут. Так мне, женское дело, как же тебя ночевать пустить? Соседи смеяться станут...

Резонно! Пойду еще *насупротив*.

– Милый! – говорит резонная женщина своему ребенку, указывая на меня. – Вот они какие, цыцарцы-то, бывают – гляди! Они умеют глаза отводить. Они и малых ребят крадут. Он вот возьмет тебя и спрячет, – все будут видеть, как он

тебя спрячет, а сыскать нельзя...

Ребенок пристально смотрел на меня, – и думаю, что он совершенно мог запомнить, какие бывают цыцарцы, и положительно ручаюсь, что, взрослый, он тоже, как и мать, едва ли пустит к себе ночевать кого-нибудь из короткохвостых.

Из окна следующего *напротив* светится приветливый огонек. На крыльце никого нет, кроме злой собаки, пропустившей меня через крыльцо тогда только, когда я ломанул ее вдоль боков своей толстой палкой.

Только что вошел я в избу, ужинавшее семейство несколько секунд смотрит на меня с недоумением, а потом, по сигналу будто чьему, вдруг раздражается хохотом.

– Цыц! – грозно прикрикивает на семью седой большак, сидящий под самыми образами в переднем углу.

Все умолкает от этого повелительного, строгого «цыц!».

– Што тебе надоть? – спрашивает он у меня.

– Ночевать проситься пришел. Нигде не пускают. Семейство, очевидно, не смеется потому только, что боится другого «цыц!». Впрочем, младшие из его чинов не сдерживаются и потихоньку хихикают и перешептываются, во все глаза осматривая меня.

– Негде у нас ночевать. А коли голоден, – сурово говорит большак, – скажи, я тебе велю щей влить и хлеба дать...

– Спасибо за ласку. Ты ночевать-то пусти, а там я уж за все заплачу.

– Буде разговаривать-то по-пустому. Заплачу!.. Влей ему

щей, Агафья! Поешь да ступай с богом! Ныне в поле тепло.

Я вижу, что мне еще предстоит идти в другой *насупротив*, потому что у большака при дальнейших моих просьбах начинают хмуриться сердитые брови...

– Где тут у вас постоялый двор есть? Меня все обманывают. Не хотят отчего-то правды сказать.

– И там не пусьят... – уклончиво отвечал старик.

Я отправляюсь на божию волю искать постоянного двора. Наконец вот он – этот новый сруб из толстых сосновых бревен, с пучком серебряного ковыля над красным крыльцом, с ставнями, выкрашенными зеленою краской, с растворчатыми окнами, с скрипучими воротами и с огромными сараями, которые в вечернем мраке рисуются такими грозными крепостными валами.

Вхожу в избу, извозчиков никого нет. Из-за перегородки виднеется половина бабы, другая половина которой уткнулась в широкое отверстие русской печи. У стола пред фонарем сидит дремлющий хозяин.

– Здесь постоялый двор? – спрашиваю я дремлющего мужика.

Хозяин торопливо вскакивает с лавки, мечет на меня наказательные взоры и говорит такую речь:

– Ах ты шут эдакий кургузый! Што ты тут шатаешься? Я было уже засыпать стал, а тебя тут бес подмывает добрых людей будить. О господи-и! – растягивал он, крестясь и зевая. – Никогда-то тебе покоя от православного народу нет, а

тут еще всякая голь нехрещеная лезет в избу.

– Какой же я некрещеный? Я такой же русский, как и ты. Вот посмотри: и крест есть у меня, и крещусь так же, как и все.

Работница наставительно подмаргивала хозяину с видом такой пройдохи, которая довольно на своем веку насмотрелась на всяких цыцарцев и вендерцев и которой поэтому все их обманы известны как пять пальцев.

Я между тем в доказательство своих слов показывал какой у меня крест есть на груди и как я крещусь.

Хозяин, видимо, соглашается, что мой крест и мой способ креститься такой же, как и у всех православных. К моей неописанной радости я примечаю в нем некоторое колебание.

Работница, доселе только молчаливо подмаргивавшая, клеивает наконец свое слово, окончательно сгубившее меня.

– Што ты ему в зубы-то глядишь? – азартно кричит она. – Ты всамделе ночевать его не оставь. Он те таких хрестов наставит в избе-то, вон убежишь. Небойсь, кабы мы по-христиански-то жили, сразу бы увидали, какой он такой хрест показывает. Невесть что он, может, кажет нам вместо хреста-то! Она вить, нехристь-то, хитра!.. Отведет глаза-то тебе, а сам что хочет, то и покажет.

– Што ты бабы глупые слова слушаешь! – усовещиваю я хозяина. – Баба – дура, сам знаешь, что ей соврет в смех кто-

нибудь, она и верит тому.

– Перекрестись-ка еще, я погляжу, – задумчиво приказывает мне хозяин.

Я крещусь в другой раз.

– Так! Прочти: «Отче наш»...

Я читаю «Отче наш» от начала до конца.

– «Да воскреснет» знаешь? – продолжает он осведомляться, насколько я силен в богословии.

Видя, что дело идет на лад, я читаю «Да воскреснет».

Мужик самым недоумевающим образом смотрит в грязный пол и слушает даже и тогда, когда я уже окончил чтение.

– Язык, братец, у тебя что-то не больно-то тверд! – выражает он свою сентенцию. – Не пущу ночевать, как хочешь. Кто тебя знает, какой ты такой на сем свете человек есть.

Меня наконец начинает бесить это.

– Да ведь я же тебе заплачу, – говорю я ему. – И деньги вот у меня – гляди.

– Знаем мы эти деньги-то, – отвечают они с кухаркой в один голос – Возьмешь их, а они после тебя угольем смердящим сделаются.

– Да не сделаются, чудак ты, право, какой. Ведь это колдуны только одни делают, а вот ты послушай, что про меня в моем паспорте написано.

– Ну, вон оно! – пренебрежительно отказывается он от слушания, что именно в моем паспорте написано.

– У исповеди и святых тайн ежегодно бываю, – начинаю я.

– Эвось! – лаконически возражает он мне.

– Поведения примерного, характера смиренного...

– Господи! Что это за жид привязался ко мне? – вопиет хозяин и направляет меня к дверям.

– Давно бы так! – радуется работница. – Проводи его в три шеи от двора-то. Кабы он в колодезь яду какого не влил, алибо дворов не поджег. Они ведь, вендерцы-то, удалы на такие дела...

Ночной мрак все больше и больше распространялся по сельским улицам и, следовательно, все больше и больше затемнял надежды мои на ночевку в избе, с живыми людьми.

Все мои просьбы пустить меня ночевать, обращенные к мужикам и бабам, встречавшимся со мною на улицах, остались без малейшего ответа.

Пристально осматривает меня встречное существо с головы до ног, задумчиво выслушает мои доказательства, что нельзя же ночевать мне в чистом поле, – волки, пожалуй, могут заесть, и или без всякого ответа торопливо скроется в соседний переулочок, или начнет выражать нескончаемые сомнения, что он не знает, какие такие народы расхаживают по белому свету, добрых людей обворовывают и глаза им отводят, а на избы, шутки ради, куролесов-домовых напускают, от которых после самим хозяевам житья в своем доме нет.

Слушая такую дичь, забываешь и про усталость свою, и про необходимость ночевать без ужина одному под какими-нибудь копнами сена, когда под рукою такое большое се-

ло, потому что глубоко занимает вас в эту минуту мысль, каким путем эти люди, так здраво рассуждающие про множество разных вещей, пришли к твердой, никакими доказательствами необоримой вере в возможность существования таких людей, которые глаза добрым людям отводят, злых домовых, шутки ради, на дома напускают и прочее.

II

Ах ты, степь моя, степь, по песне, моздокская! Не одними только камышами заросла ты дремучими! Не одни они только седыми, хмурыми тучами темнят твой широкий простор, – темнят его всего больше дикие думы твои, разросшиеся в твоей недосыгаемой глуши громаднее и темнее лесов самых темных... Пугают они и тоску на душу свежего человека наводят такую, какой не навести на нее самому мрачному, самому одинокому, безлюдному месту... Думаю я так-то про себя и делаю последнюю попытку приютиться где-нибудь на темную ночь. Палка моя звонко стучит по готовой развалиться стене какой-то избушки. Соседские собаки отвечают на мой стук яростным лаем, что все вместе самым глубоким образом в тишине ночи задумавшегося человека непременно должно привести в надлежащие чувства.

– Ты, што ль, это, Антропка? – слышится наконец из непроницаемого мрака какой-то замогильный голос. – Што тебя шуты-то там разбирают, потише бы можно стучать. Избу-то всю разворотил, леший, словно облопался чего-нибудь на мельнице-то.

– Нет, это не Антроп. Это я, странник, – говорю я. – Ночевать, хозяин, пусти, пожалуйста.

– Какой там еще полуношник шатается? – ворчит замогильный голос и осторожно шастает к двери.

В окно выставилась широкая черная борода.

– Сказывай: кто ты таков? – повелительно спрашивает борода.

– Странник, говорю я тебе. С богомолья иду, – приврал я немного.

– С какого богомолья? От Сергия-Троицы, што ли?

– В старом Иерусалиме бывали, не только что у Сергия-Троицы...

– Што же это, братец ты мой, такой ты великий богомолец, а по ночам ходишь?.. – недоумевал хозяин.

– Запоздал, друже! – продолжаю я подделываться под тон тех шатунов в плисовых порыжелых скуфейках, за одного из которых я выдавал теперь себя для того, чтобы удобнее выпроситься ночевать. – Опять же, часа с два хожу по селу, не пускает никто, да и только.

– Что же это они не пускают? Грех не пущать к себе странного человека, – резонирует черная борода. – От этого-то, может, и напасти-то на нас всякие со всех сторон, аки лист глухой осенью, сыплются, что мы богомольщикам нашим не токмо чего другого, а тепла избяного жалеем.

– Известно, от этого, – поддерживаю я хозяйскую рацею, и сердце мое радуется великою радостью, потому что живо представилось мне в эту минуту, как я сейчас выпрошусь у мужика лечь в сеннице, где в один момент забуду все труды, все неприятности дня.

Борода между тем скрылась из окна. Через минуту дверь

отворилась, и мужик вышел на крыльцо, чтобы пустить меня.

– Ну, иди, ночуй ступай, – говорит он, приглашая меня в сени. Счастье мое было полное, но, к моему величайшему сожалению, весьма непродолжительное. Лишь только разглядел гостеприимец мой короткий сюртук, мою белую соломенную шляпу с широчайшими полями, лишь только взглянул я на него сквозь мои громадные синие очки, как обхождение его со мною вдруг совершенно изменилось.

– Так такой-то ты богомолец, куцый черт? – спрашивал он, мгновенно скрываясь в сени и плотно запирая за собою дверь. – Я ж тебе покажу сейчас, как добрых людей надувать.

«Довольно с меня!» – подумал я про себя и быстро направился вон из села к непременно гостеприимным дорожным канавам и вешкам.

Ночное безмолвие вдруг пререзывает пронзительный скрип ворот того двора, от которого я отходил. Две гуртовые собаки с громким лаем и брэнчанием тяжелых цепей летят вслед за мною. Я прислоняюсь спиной к толстому дубу, росшему на улице, и вступаю с ними в ожесточенный бой. Между тем вижу я, черная борода стоит в воротах, из которых выпустил он собак на куцега черта, и с азартом гогочет:

– Олю-лю! Олё-лёле. Возьми, возьми его, Арапка! Ого, го-го! Попрдержжи, попрдержжи его, Змейка!..

Но моя ременная, гнущаяся, как змей, палка с выпускным кинжалом, бывшая в то время последним делом лондонского

досужества, скоро уладила дело, ко взаимному нашему удовольствию, то есть моему и собак.

В злости на охватившую меня сельскую чепуху я колотил собак так, что шерсть летела с них клочьями, и я имел удовольствие видеть, как враги мои с жалобным визгом еще ретивее бежали от меня в ворота, из которых так ретиво выбежали они на меня. Но честь победы над ними я никак не отнесу ни к моей энергии, с какою я бился, ни к моей в первый раз, вероятно, виданной в степи палке, потому что я очень хорошо знаю степных, гуртовых собак. В жарких схватках с своими всегдашними неприятелями – волками они обыкновенно действуют с тою доблестью, которой только можно ожидать от защитников таких робких, таких бессильных животных, каковы, например, наши курдюцкие овцы. Одна из двух мохнатых борющихся шкур непременно остается на поле битвы, – и если моя собственная шкура уцелела на мне, так это потому только, что степные собаки, как и степные мужики, испугались не столько моей палки, сколько широких полей моей шляпы, куцега сюртука и прочих атрибутов немецкого костюма, которые им так редко приходится видеть.

Иду я – и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны. Южная, темная, как глаза красавицы, ночь примирила меня с необходимостью ночевать в поле. В ее так выразительно молчащей тиши необыкновенно ясно и последовательно развивается эта

дума, тихо скорбит и вместе надеется, что наконец по всей неоглядной ширине разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой...

Потом вдруг, против воли моей, я начинаю припоминать неудачные происшествия дня, пересчитываю их по пальцам, и хотя, по собственному моему сознанию, сердиться тут было решительно не на что, я как будто в одно и то же время и сержусь на них, и люблю их... От этих неудач одного дня нечувствительно перешла моя мысль к неудачам целой жизни. Предо мною безотчетно рисовались местности различных городов, в которых я живал когда-то, – и казалось мне, что я иду уже не по большой дороге, а по улицам, давно известным мне, – в голове совершенно ясно возникают разные воспоминания о происшествиях, разыгравшихся на этих улицах, – возникают представления о людях, с которыми я встречался на них, – и обман чувств делается наконец до того велик, что я начинаю вслух говорить сам с собою за себя и за знакомых людей.

Обаятельное величие пустынной ночи и благовонно-острый запах степной растительности побуждают мозг мой к какой-то особенно усиленной, весь мой организм раздражившей умственной деятельности.

С каждым шагом моим все шире и шире разворачивалась в моем воображении так мало утешающая меня картина моего

прошлого времени, – с каждым шагом все яснее и яснее становились предо мною образы людей, с которыми когда-то и где-то сходилась я. В одно и то же время мне необыкновенно приятно было повторить в голове события моей прошедшей жизни, смотреть на людей, дорогих по каким-нибудь пережитым случаям, а вместе с тем я болезненно страдал оттого, что в этой тишине поля, так царственно обнявшей меня, я не могу перекинуться с кем-нибудь живым словом... Тоска и томление какое-то, от которых мучительно ноет грудь, попеременно заливают сердце волнами, то обдающими изнуренное тело холодом зимним, то летним зноем палящим.

Я сильно желал выйти из этого неправильного, болезненного состояния и в то же время пристально всматривался в эти рои знакомых лиц, стараясь уловить хоть что-нибудь из тех неопределенных, неуловимых звуков, которые монотонно и нераздельно неслись на меня из их воздушной среды.

Чувствую я, что не прочесть мне тайной азбуки, которую написала моему воображению глухая полевая ночь, и злюсь над своим бессилием и неумением прочесть ее. Надобно быть рассудительнее, думаю я. Надобно отрешиться от той задачи, которую нельзя разрешить. Вот другая задача, проще: попробую я сосчитать, сколько в версте будет моих шагов, – и начинаю.

– Раз, два, три! – считаю я.

– Раз, два, три! – повторяет за мною один призрак, принявший вдруг такие огромные размеры, что из-за него уже не

видно было других образов. Я не обращаю на него никакого внимания и продолжаю считать: «четыре, пять, шесть...»

– Четыре, пять, шесть! – повторяет он и, безобразно куврыкаясь в воздухе, спрашивает меня: – Что вас давно не видать?

– Что вас давно не видать? – в свою очередь, задает мне вопрос целая стая мучителей, неожиданно вылетевшая из-за широкой спины моего непрошеного собеседника.

– Семь, восемь, девять... – отвечаю я им и скрежещу зубами...

Наконец считать уже делается невозможным, потому что в то время, как делаешь шаг, трудно уже выговаривать: двести шестьдесят один, двести шестьдесят два, и, следовательно, рад был бы не считать, а все как-то считается; а знакомое видение все идет перед вами, так резво идет, и манит вас за собою, и считает: «двести восемьдесят три, двести восемьдесят четыре...»

Пораженный таким бесстыдством, я останавливаюсь и трясусь от злости как в лихорадке. Призрак, видимо, пугается моей решимости броситься на него и улетает, посылая мне на прощанье отвратительнейшую гримасу.

«Слава богу! – думаю я, – улетел».

– Хх-ва-а-лли-те и-имя господне! – беру я самую верхнюю ноту и зажмуриваю глаза из опасения встретить еще какое-нибудь новое чудовище.

– Триста тридцать пять, триста тридцать шесть! – никак

не ниже меня запеваёт, в свою очередь, вдруг появившийся призрак.

Окончательно разбешенный, я швырнул в певуна своей палкой, и, на великую радость мою, я увидел, что онахватила его по самым коленкам.

Точно раненая птица, заколебалось видение от удара и тихо опустилось на землю. Боль предсмертных мук видел я в этом падении, – стоны отлетающей жизни громко раздались в ушах моих...

– Х-ва-а-ли-те господа! – снова оглашаю я степь, чтобы своим голосом заглушить эти стоны.

«Хвалите господа!..» – налетает на меня сзади отголосок моего собственного пенья, далеко разнесшегося в непробудно спящем пространстве.

Моего призрака уже не было!

– Кто идёт? – совершенно по-солдатски будит меня чей-то голос. Я осматриваюсь. Предо мной широко расстились барские, должно быть, горохи, – на дорожной насыпи, по которой шел я, стоял одинокий соломенный шалаш караульщика тех горохов, а из шалаша виднелся огонек жарко раскуренной трубки, который довольно ясно осветил мне какого-то человека, лежащего в шалаше.

Я остановился. Курильщик приподнялся. Это был громадного роста старик с той бравой осанкой, которая примечается вообще у отставных солдат *доброго старого времени...*

– Што это, господи, – удивляется сторож, – всех господ в околотке наперечет знаю, а вас, сударь, никогда не видал, – говорит он мне.

– Я не здешний, – сказал я ему. – Я странник.

– Што же это вы такую позднюю ночью ходите?

– Что же станешь делать? В целом селе ночевать никто не пустил. Говорят, что я вендерец какой-то либо цыцарец. Поджечь, говорят, я могу, домового на избу напустить, украсть.

– Ах, музланы они эдакие необразованные! Да што у них, леших, украсть-то? Вы бы их, сударь, по сусалам-то заехали без разговору, небойсь бы всякий пустил. Истинно!.. У нас лаской мужика не проймешь – и точно, потому наш степной мужик – глуп...

– Ну, я этого не замечал, – сказал я.

– Это оттого вы не замечали, что вы не здешние... А я, как родился в эфтих местах, знаю, что иначе нельзя-с, потому сторона наша самая черная и образованности в ней капли даже единыя нет. Только што же это я делаю, разбойник я эдакой. Раздобары с господином осмелился заводить, а без одежи стою! – И он суетливо бросился в шалаш, рассыпаясь в извинениях.

В момент он зажег в шалаше огарок сальной свечи и вышел ко мне в длиннополом нанковом сюртуке и босой, той грандиозною поступью, какую обыкновенно ходят заслуженные дядьки.

– Не взыщите, что босой, – дело летнее. Не угодно ли вам, сударь, ночь со мной в шалаше разделить? Извините, что зову вас к себе.

– Помилуйте! Очень вам благодарен.

– Не подобает мне слышать, как мне барин «вы» говорит. Не стою, сударь. Не говорите мне этого, Христа ради...

Такое самоунижение начинало так же меня коробить, как за час перед тем коробила необходимость ночевать в поле.

– Правду сказать: люблю я, грешный человек, когда меня по имени и отчеству зовут, потому у дедушки еще нашего барина был я за свою верную службу в немалом почете – вся, может, вотчина Максимом Петровичем меня величала и без шапки передо мною ходила; а чтобы это, то есть насчет *вы*: не люблю я этого слова...

«Спасибо за откровенность, – думаю я про себя. – Теперь, значит, мы будем действовать с точки величания Максимом Петровичем».

– Я не знаю, сударь, как же они, мужвари, ночевать вас осмелились не пустить? Сюртук на вас, как я вижу, суконный, хороший, и шляпа как есть самая господская, и очки. Как есть все на вас, сударь, по моде прилажено, а они говорят: вендерец. Рази такие вендерцы-то бывают? Экие дураки необузданные! Барина с вендерцем не различили. Ах! узнать бы мне, в каких это избах вас не пустили, – беспременно бы управляющему доложил. Так и так, мол, проходящему барину, хотя, может, он и бедный барин, потому пешком вы из-

волите идти, наши мужики нагрубили.

– Вот что, Максим Петрович! Ты уж управляющему-то ничего не говори. Что его беспокоить? Стоит ли с ними, музланами, связываться? – поддельвался я под тон Максима Петровича, уразумев, из какого гнезда эта птица.

– Нет, это вы напрасно изволите говорить! Он у нас, управляющий-то, хошь немец, а человек очень хороший. «Меня, – всем он сказал, – барин послал к вам образовывать, – ну я и образую вас. Я, говорит, вас хоть в человечьи шкуры-то снаряжу, потому воистину в зверский образ вы облеклись и заснули...» Точно: видимо стало теперь, повеселее ходят мужики... Непременно завтрашний день обо всем в точности доложу управляющему. Пусть он их рассудит, как бог ему на сердце положит, потому мое дело сказать: так и так, мол, а его дело – судить...

– Нет уж, пожалуйста, Максим Петрович, не говори, потому сам ты знаешь: мужик – человек темный, образованности никакой не знает. За что же его под ответ подводить? Когда он умышленно сделает что-нибудь нехорошее, ну, тогда дело другое. Ты бы лучше сам внушил им, чтоб они не опасались прохожих ночевать пускать, потому хорошо, что теперь лето, везде ночевать можно, а зимой ведь, пожалуй, замерзнешь в поле. Они тебя послушают и без управляющего. Помнят они, я думаю, твою службу старому барину и знают, какой ты такой человек есть: худого небойсь не посоветуешь...

– Известно, не посоветую! – говорил Максим Петрович,

заботливо снаряжая мне постель из сена с расторопностью человека, не только знающего свое дело, но и душевно ему преданного. – Только я им же добра желаю. За битого, сударь, двух небитых дают. Поучит их управляющий, умнее будут. Им же от этого польза, а не мне... Ведь ежели бы вы изволили знать, сударь, что это за народ такой дикий – страсть! Ты к нему со всей душой, а он это упрет в землю бельма-то свои оловянные и молчит, только это исподлобья иногда взглядывает на тебя. «Што ты молчишь? – спросишь у него. – Ведь я тебе душевно советую на свою же пользу». – «Знаю, говорит, Максим Петрович, к моей пользе, и человек ты, говорит, хороший... да тово... Ты, говорит, все же тарелки эти барские лижешь... Скусны они очень, эти тарелки-то. Верить-то тебе поэтому и не так чтобы...» А, какво? Значит, как же вы теперича сладите с ним, сударь?.. Я ничего не возражал Максиму Петровичу.

– А точно, надо правду сказать, ежели бы, то есть, так глуп не был наш степной народ, – продолжал Максим Петрович, – хороший был бы народ, потому добр уже очень. Ведь вот теперича вас ночевать не пустили, а ежели бы пустил кто и увидал, что все благополучно, ни единой копейки с вас ни за ужин, ни за ночевку не взял бы, потому бога помнит и всякую нужду по себе знает. Это истинно!

– Я знаю об этом, Максим Петрович. Во многих селах с меня за ночлег ничего не брали. Только богу свечку просили поставить. Вон на шоссе очень обдирают, да зато во всякое

время там ночевать пустят.

– Не говорите мне, сударь, про это шоссе. Идолы там, а не мужики живут. Разбойник на разбойнике, разбойником погоняет. С нашей простой стороны и равнять-то их грех...

– Вот то-то и есть, Максим Петрович. А ты все своих коришь. Значит, уж лучше быть простым человеком, да не грабителем. Вот, значит, управляющему-то не все нужно рассказывать.

– Так-то так, сударь! А все же я свое опять запою: дик народец у нас. Долго его выколачивать умным людям придется, пока из него все блохи повыскочат...

– Может быть, может быть, Максим Петрович! Только я думаю, что и без выколачиванья блохи-то из него поразлетаются.

– Ох, вряд ли, сударь! Ох, вряд ли они, блохи-то, разлетаются без колоченья, – сомневался Максим Петрович, покрывая приготовленное мне сенное ложе вместо простыни своим нанковым сюртуком, вместо которого он счел за нужное облачиться в какую-то менее парадную свитку; для этой цели, впрочем, он весьма деликатно выходил из шалаша... Когда я улегся совсем, он вытер пыль с сапогов моих, выколочил и осмотрел все мое платье – и потом уже этот хозяин своего шалаша, приютивший меня в нем, стал предо мной, опустил руки, что называется, по швам и говорил:

– Можно мне теперь спать, сударь?.. Не нужно вам ничего больше?..

Я склонился пред привычками старика и на его вопрос ответил *не так, как бы хотел я ответить*, а как ему самому, вероятно, отвечали многое множество лет:

– Спи ступай, Максим Петров! Ты мне не нужен больше...

– Слушаю, сударь! Покойной ночи!

– Покойной ночи!

Но, должно быть, сама судьба определила, чтобы не спать мне спокойно эту ночь. Яркое зарево, ударив мне прямо в глаза, разбудило меня. Максим Петрович облакался уже в свою свитку.

– Што, и вы изволили проснуться, сударь? – спрашивал он. – Не извольте беспокоиться. Это пожар в нашей деревне, завтра вы мимо пойдете – увидите; а теперь зорькой-то сосните пока. Здесь вас никто не тронет.

– Да пора уж и мне. Кажется, я довольно соснул. Пойду и я с тобой, Максим Петрович. Пожар, кстати, посмотрю.

– Ну, пойдёмте, когда так, – согласился он, помогая мне одеваться так, как некогда он помогал еще дедушке своего настоящего барина.

Заря уже занималась, когда мы вышли. Зарево пожара разбудило не нас одних только, – грачи и вороны, спугнутые им с придорожных вешек, с громким криком сновали взад и вперед по расцвеченному заревом небу. До нас глухо доносился неясный гул множества смешанных голосов, обыкновенный при каждом смятении, высоко взвываемые ветром, прямо на нас летели так называемые блестящие галки, то

есть загоревшиеся пучки соломы. Кружась и летая в еще темном небе подвижными звездами, они рассыпали на землю тысячи искр и, окончательно прогорев, спускались на головы наши еще горячим пеплом.

Домов пятьдесят кряду были обхвачены пламенем. Пожар был в полном разгаре, так что горела даже трава, росшая по улицам. Народ, видимо, отступился тушить, и только около домов, еще не загоревшихся, сустились мужики, вытаскивая пожитки и выгоняя скотину.

– Что же вы руки-то сложимши стоите? – прикрикнул Максим Петрович на кучку мужиков, которые действительно стояли празднично, сложив руки.

– Гнев божий, Максим Петрович! – отвечали из толпы. – Ничего не поделаешь. В церкву за Неопалимой купиной послали. Хотим кругом всего пожарища обнести. Может, господь и смилуется...

– Бог-то бог, да сам не будь плох! – кричал Максим Петрович, ухватываясь за длинный багор. – Ломай избу! – командовал он, преграждая огню дальнейшую дорогу. – Разноси весь двор. Бабы! Живо у меня воду носить; коли замечу какую, што ленива, ох, проберу!.. Такого жару задам!..

Работа закипела тем деятельнее, что скоро показался священник с Неопалимой купиной в руках. Причт и громко плачущие бабы погоревших домов сопровождали процессию, обходящую с образом широкое пожарище...

– Вот какой дикий народец! – говорил мне запыхавшийся

Максим Петрович, когда пожар значительно утих. – Ни до чего-то этот народец своим умом не дойдет. Не приди я, ей-богу, все село корова бы языком слизнула. Теперь ничего – утихает помаленьку.

– Ну и слава богу! Теперь прощай, Максим Петрович. Вот тебе за приют твой, за твою ласку.

– Очень благодарен, сударь! Позвольте ручку поцеловать! – И он бросился целовать мою руку, которую я не успел отнять.

– Эх, Максим Петрович, напрасно ты это делаешь, – сказал я ему. – Я этого так же не люблю, как ты не любишь, когда тебе «вы» говорят.

– Это дело другое, сударь... чего нельзя, так нельзя... Вы уж лучше не обижайте меня на прощанье-то; а то я завтра же управляющему доложу, какой такой необузданный народ наши мужики и какую они вам грубость учинили! – заключил Максим Петрович, весело посмеиваясь.